

УДК 13:321.64(47+57)

А.В. Политов

## СОВЕТСКИЙ ТОТАЛИТАРИЗМ: ХРОНОТОПИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

На материале отечественной литературы XX века культурно-историческая эпоха тоталитаризма в Советской России раскрывается как цельность особого рода – хронотоп, который понимается как общность всех смыслов, значений и образов, присущих данному времени. Последовательно рассматривая советский тоталитаризм в определениях исторической эпохи, индустриальной культуры, бюрократической системы, диктата абсурда и небытия, автор очерчивает контуры советского тоталитаризма как самостоятельного феномена, отдельного семантического мира. Воссозданная с помощью подобного описания цельность и является хронотопом советского тоталитаризма в его сущностном значении.

*Ключевые слова:* хронотоп, семантический мир, тоталитаризм, индустриализм, культурно-историческая эпоха, бытовая культура, русская литература XX века.

### Тоталитаризм – это эпоха

Большую часть истории России XX века занимает эпоха тоталитаризма. Под эпохой мы понимаем не просто период в истории, не просто отрезок времени, но хронотоп – семантический мир уникальной культуры, цельный континуум образов, ценностей и смыслов. Термин «хронотоп» мы заимствуем из трудов отечественных учёных А.А. Ухтомского [1, с. 275] и М.М. Бахтина [2, с. 234–235]. Для определения сущности хронотопа мы используем понятие семантического мира, которое было введено в научный оборот В.В. Налимовым [3, с. 90]. По нашему мнению, любое сущее (человека, вещь) и любую общность (культуру, историческую эпоху, цивилизацию и т.д.) можно описать как хронотоп – как автономный семантический мир с присущими ему уникальными смыслами и значениями. Замысел настоящей работы состоит в том, чтобы понять культурно-историческую эпоху тоталитаризма в качестве хронотопической цельности, особого семантического мира. Мы будем поэтапно вводить определения тоталитаризма, чтобы в конечном счете описать данный феномен как хронотоп, как целое, в котором раскрыт сущностный образ тоталитаризма как такового.

Для настоящего времени тоталитаризм – это прошедшая эпоха, мёртвый, замкнутый мир, законсервировавшееся семантическое пространство. Эпоха прошла, но её результаты, артефакты, ценности, смыслы остались. С течением

---

© Политов А.В., 2015

Политов Андрей Викторович – соискатель кафедры истории философии, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»; e-mail автора: erikhczeren@yandex.ru.

времени прошедшая эпоха уходит всё дальше и дальше, и всё меньше её представителей – людей и предметов бытовой культуры – остаётся в мире. Временная дистанция грозит эпохе полным исчезновением, поскольку рассеивается, уничтожается, уходит в небытие её материальная культура. Поэтому значение уцелевших артефактов возрастает с каждым днём. Только по уцелевшим объектам культуры мы можем отличить одну эпоху от другой, можем познать дух эпохи, её атмосферу и значение. Внутри эпохи тоталитаризма как таковой мы можем различить три более мелких периода: первобытный тоталитаризм двадцатых–сороковых годов XX века, высший тоталитаризм пятидесятих–шестидесятых годов и выродившийся тоталитаризм эпохи застоя, завершившийся в середине восьмидесятых годов.

### **Тоталитаризм – это индустриализм**

Тоталитаризм есть феномен индустриальной цивилизации. Техносфера знаменует собой культуру тоталитаризма. Развитие тоталитаризма началось с индустриализации в тридцатых годах XX века, целью которой было уничтожение старого быта и природы для того, чтобы расчистить мир под индустриальное. Тоталитаризм пришёл в мир, неся смерть для людей и свободного природного существа. Люди использовались тоталитаризмом в качестве подручного средства для того, чтобы индустриальное утвердилось в мире. Двадцатые–тридцатые годы XX века были эпохой первого, варварского, дикого тоталитаризма, когда его основные черты ещё только намечались. Поэтому индустриализм того времени был близок к быту, к земле, был крайне неразвит и сопровождался такой же неразвитой, тёмной культурой и грубым, примитивным искусством, неумело восхваляющим новый индустриальный быт и жёстко требующим уничтожения старого, отжившего быта. Природа, церковь, прежняя культура, старые традиции и порядки – всё должно было быть принесённым в жертву нарождающемуся индустриализму, под маской которого и скрывался тоталитаризм. Коллективизация крестьянского быта послужила лишь прологом к грядущему тотальному уничтожению индустриализмом прежней бытовой культуры. Сначала в городской, затем и в архаичный сельский быт постепенно начинают проникать приметы нарождающейся индустриальной эры. В начале века это влияние едва чувствуется, образ новой эпохи ещё не складывается: «Сквозь сонный, безветренный дождь что-то глухо и грустно запело... Это гудела далёкая машина, живой работающий паровоз... Захар Павлович не обратил внимания на отраду природы, его разволновал неизвестный смолкший паровоз» [4, с. 9]; «На полях стояла тишина... гудела проволока на телеграфных столбах, уходящих вперёд длинной вереницей. За столбами – станция. На станции – чугушка» [5, с. 10].

Индустриальное – это отдельный семантический мир, особый культурно-исторический слой, входящий в эпоху тоталитаризма и образующий её значение. Индустриализм был смертельно опасен не только для природного мира,

но и для человека, поскольку для тоталитаризма люди выступают средством для достижения цели. Поэтому быт строителей коммунизма сузился до зыбкого существования одним днём без будущего: «Густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловитые клопы... В бараке № 28, как и в других бараках, люди выкидывали из тюфяков сено и забирались в полосатые мешки <...> день и ночь рабочие строили бараки, но барачников не хватало. Семья спала на одной койке... Те, что не попадали в бараки, рыли землянки... Люди жили как на войне. Они взрывали камень, рубили лес и стояли по пояс в ледяной воде, укрепляя плотину... Они устанавливали, что ни день, новые рекорды, и в больницах они лежали молча с отмороженными конечностями» [6, с. 215–218]. В эпоху первобытного тоталитаризма жизнь в городе была немногим лучше жизни в колхозе или на «стройке коммунизма»: «Комната была узкая, два с половиной метра, и длинная, четыре метра, тёмная и сырая. На одной стене, густо покрашенной зелёной масляной краской, выступали большие капли воды, стекавшие тонкими струйками на пол. Небольшое, вечно грязное снаружи окно выходило прямо на тротуар... Под окном в нишу был встроен шкаф для продуктов. Внутри его было сыро, пахло плесенью. Под шкафом стоял сундук... В комнате стояли ещё шкаф, стол и два стула... Стояла железная кровать с медными шарами... Под потолком висела тусклая электрическая лампочка. На тонкой перегородке, отделявшей нашу комнату от соседей, висела чёрная тарелка радиопроизводителя» [7, с. 67–68].

Бытовая культура больших коммунальных квартир является ключевым образом эпохи первобытного тоталитаризма: «В комнатах стояли круглые железные печки... На кухне пылала плита... Вещи в ту пору жили подолгу. Многие из них дремали в сундуках, пересыпанные нафталином. В начале лета их вынимали, вывешивали на двор проветриться... Во дворе имелась помойка... Во дворе сушилось бельё, развешенное на верёвках... Чердак был помещением таинственным... Здесь, в чердачных сумерках, представала огромность дома. Его пространство, не разделённое комнатами, коридорами, чуланами, перегородками, терялось во мгле. Костяк дома, с его неоштукатуренными кирпичными капитальными стенами, с проёмами, выявлялся незнакомо <...> из слуховых окон открывалась даль ребристых красных крыш с дымами труб, чистые скаты кровель, ещё не заставленные палками антенн. Противоположностью чердаку были подвалы, в подвалах было скучно, сыро, там, разделённые на клетушки, хранились семейные дрова» [8, с. 26–37]. Прочно войдя в жизнь людей на низовом уровне их бытия, в быт, коммунальный дух осел в их сознании. Общая кухня, общий санузел (если таковой был), общий коридор, общий двор формировали в человеке коллективизм особого рода, в котором сочетались новый индустриальный быт и тёмная первобытность: «Двор составлял неотъемлемую часть жизни городского дома. Во дворе знали и обсуждали жильцов... Двор складывал мнение. Двор осуждал пьяниц, хулиганов, во двор приходили женщины жа-

ловаться на своих мужей и детей. Наверное, это держалось на том, что была некоторая общность дворовая: общая прачечная, в доме жили свои домовые дворники. Двор соединял хозяйственными делами» [8, с. 35].

Одним из величайших творцов новой индустриально-тоталитарной культуры был советский писатель Аркадий Гайдар. Обратимся к его текстам, чтобы понять атмосферу эпохи раннего тоталитаризма, который в своей первобытности тяготел к природе, полностью сливался с ней. В этом пункте заключается двойственность тоталитаризма: с одной стороны, индустриализм по своей сути направлен на уничтожение природы, с другой стороны, индустриальное в общем ландшафте мирового феномена полностью сливается с окружающим его свободным природным сущим. В мировом пейзаже индустриальное и природное – два абсолютно разных феномена – оказываются единым целым. На горизонте дымящая труба и небо неразрывно связаны. Наглядное описание такого слияния природного и индустриального мы можем встретить в рассказе Аркадия Гайдара «Дым в лесу» 1939 года: «Моя мать училась и работала на большом новом заводе, вокруг которого раскинулись дремучие леса... Около завода в два ряда протянута колючая проволока. А по углам под деревянными щитами день и ночь стоят часовые. Даже отсюда <...> слышно бряцание цепей, лязг железа, гул моторов и тяжёлые удары парового молота. Что на этом заводе делают, мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного – товарища Ворошилова» [9, с.5, 31].

Если тридцатые и сороковые годы XX века были временем незрелого, дикого тоталитаризма, то пятидесятые годы мы можем описать как эпоху высшего, максимально развитого тоталитаризма. Все основные черты тоталитаризма в эти годы оформились окончательно и проявились в полной мере; тоталитарная культура приобрела завершенность. Культура высшего тоталитаризма была культурой монументальной, ориентированной на крупные, устойчивые формы, не допускавшей ни малейшего отклонения от канона. Это была монументальная культура, но её невозможно признать классической. Мы можем описать культуру высшего тоталитаризма только как квазиклассическую, поскольку она воспроизводила монументальные классические формы только внешне, поверхностно, но за колоссальным внешним фасадом дворца культуры скрывалась абсолютная тьма концлагеря. Поэтому эстетика высокого тоталитаризма есть ложная эстетика, основанная на всеобщем молчании и запрете; притворное пуританство тоталитарного режима сочеталось с абсолютным беззаконием и азиатским варварством.

Во всех сферах жизни в эпоху высокого тоталитаризма мы видим гигантизм, монументализм, стремление к колоссальным законченным формам: «Высоко в небо уходил стройный металлический каркас, состоящий из горизонтальных стальных балок-ригелей и вертикальных колонн <...> величественная, словно вычерченная в воздухе, стройная громада уходила ввысь...

Множество людей что-то делали» [10, с. 5]. В гигантские стройки вовлекаются миллионы людей, промышленность становится привычной, неотъемлемой частью бытовой жизни, чувство всеобщности, тотальной сопричастности охватывает людей той эпохи: «Чайник с кипятком ведерный, синей эмали... Уже шестой сегодня выпивают. Это сколько же люди пьют за сутки? Ну, по району, например? Или по области?... А по всей стране? Ой... реки!» [11, с. 5]. Эстетика высшего тоталитаризма есть эстетика огромных труб, дымящих в небо, гигантских фабрик, кранов, градирен, домен, заводских проходных, столь романтично воспеваемых в величайшем фильме тех времён «Весна на Заречной улице». Это был максимальный расцвет индустриальной мощи, тоталитарной культуры. Тем не менее эта высокая романтика великих строек имела под собой скрытое глубинное основание, потому что эстетика быта тех, кто возводил заводы и фабрики, продолжала воспроизводить образцы варварского индустриализма тридцатых годов с небольшими косметическими модификациями. В наилучшем образце бытовой школьной повести сталинской поры «Витя Малеев в школе и дома» выдающийся писатель Николай Носов описывает жизнь детей рабочих кварталов и скромно называет барак, расположившийся по соседству со сталинками, «небольшим деревянным двухэтажным домиком»: «На нашей улице все дома большие, четырёхэтажные и пятиэтажные, как наш. Я давно уже думал: что это за люди, которые живут в таком маленьком деревянном доме?» [12, с. 191].

Сочетание заоблачной техносферы с варварским бытом, разумеется, не могло привести ни к какому иному требованию, кроме требования улучшения бытовых условий, улучшения жизни. Но именно в этом пункте и начинается угасание тоталитаризма. С шестидесятых годов тоталитаризм постепенно вырождается. Как наиболее бесчеловечный феномен, тоталитаризм для своего существования требует от человека нечеловеческого напряжения сил, полного уничтожения частной жизни, отказа от комфортных бытовых условий. Советский человек не имел право на отдых, потому что советская власть имела право на жизнь самого человека. Высший тоталитаризм мог существовать только в экстремальных для людей условиях. Право на улучшение быта и частная жизнь оказались теми факторами, которые сломали высокий тоталитаризм. Частный быт, личная жизнь, частные семейные проблемы стали главными, вытеснив общее. Отныне основными для человека являются его собственные заботы, но не общие, только собственная жизнь становится истинно значимой. Установившийся во второй половине XX века приоритет частного над общим уничтожает тоталитаризм.

В шестидесятые и семидесятые годы происходит коренной слом в культуре тоталитаризма. Монументальные формы высшего тоталитаризма сменяются незаметной серостью застоя. Гигантизм каждодневного трудового подвига сменяется спокойной текучестью будней, обыденностью работы, которая стала ритуалом, традицией, в которой нет ничего особенного: «На дорожных

работах в Москве техники не меньше, чем на нашем участке. Вероятно, даже больше. И шик больше – рабочие в жёлтых кофтах, в жёлтых шлемах. И всё же нет того масштаба, нет той перспективы, техника здесь огорожена щитами, защищена предупредительными знаками и фонарями, теряется среди высоких домов; видишь одни объезды, заторы, пробки, мостки вместо тротуаров. Только чувствуешь запах горячего асфальта» [13, с. 365]. Колоссальная в своем выражении культура высокого тоталитаризма сменяется однообразной и бессильной культурой периода застоя. Если культура пятидесятых годов в своей сути была надмирной, сверхчеловечной, стремившейся к тотальности, к абсолютности выражения, то культура семидесятых была культурой скучной, мелочной, будничной, приземлённой, лишённой стремления к гигантизму, надмирности. Индустриализм эпохи застоя – уже устоявшийся, привычный, обыденный. Он лишён стремления к надмирности, обезличен. Это вполне развитая, масштабная, стабильно работающая промышленность. Но в этой стабильности и серости будничной работы кроется гибель тоталитаризма, поскольку он лишён энергии, лишён своей эстетики, лишён человечности.

### **Тоталитаризм – это коллективизм**

Одна из наиболее изученных и важных особенностей тоталитаризма – коллективизм. Тоталитаризм как торжество общего над частным подавляет, уничтожает единичное, автономное в свою пользу. В эпоху тоталитаризма человек принесён в жертву общему. Тоталитаризм – это эпоха, в которую общее захватило власть и распоряжается человеком. При тоталитаризме с человеком происходит насильственная трансформация: общее уничтожает индивидуальную по своей сути природу личности. Тоталитаризм есть самый античеловечный феномен, потому что он в период своего существования не просто претендовал на жизнь человека, но он уничтожил или искалечил десятки миллионов жизней. Тоталитаризм – это максимальное выражение общего, его апофеоз. В эпоху тоталитаризма общее выходит из-под контроля, переживает свой расцвет, управляет человеком. При тоталитаризме общее в полной мере показало свою исключительно негативную всепоглощающую силу. История тоталитаризма значительно обогатила диалектику общего и единичного, превратила её из теории в практику. Если в период раннего тоталитаризма (тридцатые годы) получившее власть общее просто уничтожало единичное (советское государство убивало миллионы людей), то в эпоху высшего тоталитаризма общее достигло небесной сферы своего величия. Темп убийств несколько снизился, поскольку общее уже могло существовать за счёт единичного просто в силу своей привычности: новые поколения изначально существовали в атмосфере, созданной тоталитаризмом, воспитывались в духе коллективизма, мыслили и жили ценностями общего. В качестве иллюстрации приведём отрывок диалога из рассказа Николая Носова «Про Гену»:

- Ничего, – сказал Гена. – Завтра я тоже на первое место выйду.
- Ну ты не особенно надрывайся там, – сказала мама.
- Зачем – особенно! Как все, так и я [14, с. 24].

Но привычность общего, его всеохватность сыграли для него роковую роль. Общее в пятидесятые и семидесятые годы – это совершенно разные явления. В пятидесятые годы общее обладало абсолютной метафизической мощью, вершило судьбу мира. От общего в тот период впервые зависел не только человек, но и сам мир как таковой. Общее было вездесущим, но именно в силу этого оно постепенно стало обыденным. Общее теряло своё влияние по мере того, как обустривалась частная жизнь человека. Лозунги и призывы общего теряли свою силу и переставали восприниматься так же, как раньше, потому что они постоянно присутствовали в поле зрения; их переставали замечать, придавать им значение. В эпоху застоя общее сделалось будничным, но не так, как это было прежде, когда общее ежедневно насильственно навязывалось, и было опасно не следовать его требованиям. С течением времени общее всё более тускнело, отступало на второй план и слабело, теряло своё влияние под нарастающей ролью частного. В эпоху застоя общее потеряло свой надмирный уровень, превратившись в будничность. Общее было обмирщено и нейтрализовано частным бытом, личными заботами. Диалектика общего и частного сделала полный оборот и замкнулась сама на себя: от абсолютного диктата общего к торжеству частного интереса, которое ознаменовало новую, посттоталитарную эпоху.

### **Тоталитаризм – это система**

Во второй половине XX века бюрократическая система стала не просто устойчивым, организованным и широко распространённым явлением, но пронизала собой весь мир, став каркасом общественного устройства, главным социальным институтом. Речь уже идёт, следовательно, не об отдельном явлении, но о системе как таковой, системе, которая поглотила всё. Система репрезентирует человека в такой же мере, как религия, быт, искусство. Система – это обозначение человека, символ его нахождения в мире. Система есть наглядный образ всего человеческого общества. При тоталитаризме система получает колоссальное развитие. Своё понимание системы мы проиллюстрируем с помощью выдающегося произведения братьев Стругацких «Улитка на склоне» (далее в тексте – УНС), в частности, выдержками из глав, посвящённых Управлению «по делам Леса – этой бредовой пародии на любое государственное учреждение» [15, с. 615].

Система имеет свою культуру и свой быт. Каждой эпохе присуща своя система, которую не встретить в другое время. В УНС мы находим описание быта системы, характерного для второй половины XX века, эпохи тоталитаризма: «В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином

дверей ничего не было слышно» [16, с. 394]. Как и человек, система стремится к улучшению бытовых условий. Система создаёт для себя свой быт, свою культуру, своё окружение, которое маркирует пространство системы в мире. Система требует места в мире, и система получает его, размещаясь в административном здании. Без размещения в определённом строении система существовать не может. Собственное здание, как свой мир (точнее – мирок), система обустроивает согласно собственной иерархии. Система управляет не только пространством собственного мира, ограниченного внешними стенами здания, но и людьми, находящимися у неё в подчинении и обитающими внутри учреждения. Внутри административного здания служащие размещены по кабинетам, как по определённым ячейкам, сотам. Этим распределением система стабилизирует свою структуру и оформляет положенную иерархию.

Каждая ступень иерархии имеет свой быт. Представители низших ступеней размещаются в наихудших бытовых условиях, в подвалах, в небольших помещениях, в проходных или больших кабинетах, где они соседствуют со своими сослуживцами. Чем выше человек располагается в иерархии, тем лучшие бытовые условия (например, отдельный кабинет) предлагает ему система. Высшая ступень иерархии – директор – окружён максимально комфортными бытовыми условиями. Директорское существование предполагает совсем иную культуру, чем ту, которую мы встречаем у низовых работников: «Перец вошёл, погрузился ступнями в чудовищную тигровую шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный сумрак приспущенных портьер, в благородный аромат дорогого табака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие чужого существования... Но за гигантским столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И никто не встретил его взглядом, кроме мученика Селивана на исполинской картине, занимавшей всю боковую стену... Перец опёрся о стол и, придерживаясь за его полированную поверхность, побрёл в обход к креслу, которое показалось ему самым близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что слева стоят ряды разноцветных телефонов, а справа тома в тиснённых золотом переплётках, а прямо – монументальная чернильница» [16, с. 591–592].

Всюду в системе мы можем наблюдать два мира с отдельными культурами: мир начальника и мир подчинённых. Эти миры соприкасаются, и их взаимодействие также обставлено определёнными бытовыми условиями: «Перец явился в приёмную директора точно в десять часов утра. В приёмной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили четвёртым... Приёмная была окрашена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка: «НЕ КУРИТЬ, НЕ СОРИТЬ, НЕ ШУМЕТЬ»... Кроме входной двери, на которой было написано «ВЫХОД», в приёмной имелась ещё одна дверь, огромная, обитая жёлтой кожей, с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Эта надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как угрюмое предупреждение. Под



надписью стоял стол секретарши с четырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей машинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно перелистывали старые иллюстрированные журналы» [16, с. 468–469].

Отметим, что важное место в культуре системы, основанной на несвободе и запретах, занимают всякого рода предупреждающие оповещения, надписи и знаки. В УНС их присутствие в бытовой культуре системы гиперболизировано, предупреждения встречаются буквально всюду: «Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись: «ВСТАВАЙ, ВЫХОДИ!» [16, с. 393], «Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «ПОМОЙ РУКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ». На двери красовалась большая черная буква «М» [16, с. 394]. «Вот я очень давно думал о лесе... И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда: «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЛЕСА» [16, с. 396].

Каждый вовлечённый в систему вынужден играть в ней роль согласно своему положению в иерархии. Роль, навязанная человеку системой, обезличивает его, отчуждает его от самого себя и от других людей. Маска, надетая на человека системой, делает его частью системы, простой собственностью наподобие вещи без всяких прав, отнимает индивидуальность и свободу, изначально присущую человеку. Но дело состоит не только в изначальной злонаправленности системы. Роль, навязанная человеку, играетя им совершенно привычно, в большинстве случаев человек бессознательно, без сопротивления надевает на себя положенную по ситуации маску. Более того, даже если человек и осознаёт порочную сущность системы, то всё равно в рамках системной иерархии он автоматически, против своей воли, против своего осознания, будет вести себя и говорить именно так, как положено системой. Напомним, что в УНС Перecu довелось оказаться в двух противоположных ипостасях: подчинённого перед начальником и самого директора. Перец-подчинённый в разговоре с директором (пусть, как это окажется впоследствии, и мнимым) испытывает тотальное отчуждение от самого себя; он действует и говорит словно под гипнозом. Скажем больше: это говорит не Перец, но совсем другой человек, даже не человек вовсе, но отчуждённый некто, вытеснивший личность Перца:

– Внештатный сотрудник Управления Перца? – чистым звонким голосом произнес директор, поворачивая к Перцу свежее лицо спортсмена.

– Д-да... Я... – промямлил Перец.

– Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. Здравствуйте. Моя фамилия Ахти. Много о вас наслышан. Будем знакомы.

Перец, наклонившись от робости, пожал протянутую руку... Он решил махнуть на все рукой и со всем соглашаться» [16, с. 473].

Перец-директор ведёт себя подобающе, в соответствии со своей новой ролью. Он властен и суров; мы видим полную противоположность Перецу-подчинённому, не могущему связать двух слов. Удивительно, как две абсолютно противоположных роли совмещает система в одном человеке: «Он стиснул подлокотники и подумал: Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы... Так, да? Ну-ну, подонки, холуи, картонные рыла... Ну хорошо, пусть будет так...

– Не трясите папкой над столом, – сказал он сурово. – Дайте ее сюда» [16, с. 592].

Система агрессивна и напориста в такой же степени, в какой слаб и подавляем человек, против которого она направлена. Заметим, что уничтожение (в случае если человек подчинённый) или замещение личности длится лишь на время взаимодействия с противоположной стороной. Человек, находясь в этом уничтожающем его личностном потоке, подстраивается под ситуацию, меняя маски по мере необходимости. Однако не забудем, что в первом примере Перец-подчинённый в своём представлении сам наделил человека, стоящего перед ним, начальственным ореолом, ведь у него не было никаких доказательств, что этот человек – директор. Таким образом, Перец сам поставил себя в подчинение, сам принял свою вторичность в этом взаимодействии, сам надел на себя отчуждающую маску. Поэтому в отчуждении всегда есть две стороны: система, иницирующая его, и человек, поддерживающий его. Человек, принимая правила системы, соглашается на рабство, на уничтожение себя, и отрицает себя сам. Так велико влияние системы, что человек сам отчуждает себя в её пользу.

Неудивительно поэтому, что видя слабость человека, его готовность к уничтожению собственной личности в пользу ничто, система позволяет себе обвинять человека и наказывать его. Система управляет человеком, на которого не имеет никакого права, но не только управляет его жизнью, его временем, но и занимается его судьбой, обвиняя человека за проступки. Тем не менее человек сам подчиняется системе, примиряется с её властью и в акте этого примирения уничтожает собственную сущность, собственную свободу. Человек признаёт власть системы над собой, следовательно, признаёт и легитимность её наказания. Это означает, что автоматически человек заранее соглашается, что всякое его действие может быть проступком и должно быть осуждено. Система как таковая построена на запретах и взысканиях за нарушение запретов. В силу принципиальной иерархичности системы одно из самых тяжёлых преступлений для неё – это нарушение субординации, пищевой цепи подчинения. Наказание подчинённого – одно из самых жизненно важных для системы действий: «Говорят, готовится приказ, – сказал Стоян. – У кого меньше пятнадцати статей, все пройдут спецобработку» ... – Да ну? – сказал Квентин. – Дрянное дело, знаю я эти спецобработки, от них волосы перестают расти и из рта целый год пахнет...» [16, с. 501–502].

Документ для системы значит то же самое, что текст для культуры. В простой бумаге система замуровала свободу человека. Потому что без надлежащих документов человек в обществе – не человек, но никто: «Перец шёл... и каждый раз Перцу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он уже подходил к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода испортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах» [16, с. 567–568]. Человеческая сущность зашифрована в документе. Документ, таким образом, есть символ рабства, символ авторитета системы и несвободы человека. Великое ничто – система – делает человека никем, если у него нет документов. Рабство, установленное системой, проявляется с абсолютной очевидностью: уникальная личность человека, на которую никто и ничто не имеет никаких прав, в мире, управляемом системой, нуждается в подтверждении. Система обладает монополией на удостоверение личности, именно в систему обращается человек, чтобы подтвердить самого себя.

Не только человеческая личность нуждается в подтверждении, но целый мир. Система пытается задокументировать всё. В документообороте система замораживает события, омертвляет движение мира. Система претендует не просто на человека, но на весь мир. С каждым последующим историческим периодом система расширяется всё больше и больше, и всё огромней становится документооборот, в котором система старается отразить мир, и в этом отражении остановить, иссушить его. Беличье колесо документооборота, таким образом, есть механизм функционирования, существования системы: «Существует административная работа, на которой стоит все. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием далеко в глубь времен. До сегодняшнего дня он овеществлен в существующих приказах и директивах... Ни единого дня без директивы, и все будет в порядке... Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директив?» [16, с. 600–601].

### **Тоталитаризм – это абсурд**

Культура тоталитаризма обычно представляется в виде возвышенной, моральной, ориентированной на классические идеалы. В действительности нет культуры более нелепой и чудовищной в своей абсурдности, чем тоталитарная культура, которая является апофеозом кровавого, страшного, дикого абсурда. Культура тоталитаризма – это сочетание романтики с концлагерем, союз псевдопуританской сталинской морали с тотальным мраком. Именно это смешение

страха, чудовищной лжи, молчания, абсурда, смерти и крови является исключительной особенностью эпохи раннего и зрелого тоталитаризма. Любое начинание тоталитарная культура доводит до абсурда, потому что она не может действовать иначе в силу своей природы. Так, например, после объявления так называемой индустриализации был выдвинут бредовый лозунг «пятилетку в четыре года», сразу вскрывавший нелепость этого преступного предприятия. Самая страшная особенность тоталитарной культуры заключалась в том, что все люди, жившие в стране, вынуждены были не просто соглашаться с очевидным бредом, но существовать в абсурде, подчинять ему свою единственную жизнь. Таким образом, была установлена невиданная доселе в истории зависимость людей от воли и любого желания одного, достигшего высшей власти человека – диктатора и убийцы. В сталинском тоталитаризме даже лояльный не мог быть в полной уверенности за свою дальнейшую судьбу; несогласный уничтожался. Поэтому абсолютный абсурд тоталитарного строя получил универсальный механизм для почти бесконечного воспроизведения – постоянно поддерживаемый и тщательно формируемый социальный психотип (который, к сожалению, с определёнными трансформациями существует и поныне): «На многочисленных языках слагают народы Советского Союза песни о Сталине. В этих песнях отражена величайшая любовь и безграничная преданность народов Советского Союза к своему великому вождю, учителю, другу и полководцу» [17, с. 242]. С течением времени всеобщий абсурд постепенно смягчается и теряет свою страшную, смертельную сущность. Абсурд эпохи застоя смешон, но не опасен, как, например, в тридцатые годы, когда на страну обрушился настоящий мор. С вырождением тоталитаризма слабеет и его абсурдность.

### **Тоталитаризм – это небытие**

В XX веке тоталитаризм достиг высшей власти над людьми, но так и не смог овладеть миром (мы не имеем в виду распространение тоталитарных режимов по планете). Тоталитаризм не достиг своей абсолютной цели, и поэтому был уничтожен, но не подобным ему по размаху феноменом, а множеством частных интересов. Тоталитаризм погиб не от одного удара, но от тысяч мельчайших разрывов. Крушение тоталитаризма произошло потому, что частный интерес, личная жизнь стали доминировать над общим (примечательно, что в России на протяжении всех периодов её истории традиция коллективизма, как ни странно, вовсе не была основной: как правило, общественное находилось (и находится) в небрежении, а частное, домашнее, оберегается и является единственным объектом подлинного интереса). К восьмидесятым годам крушение общего стало очевидным, но все ещё маскировалось государственной ложью.

Наивысшая мощь, абсолютный расцвет тоталитаризма могут находиться не в торжестве государства над личностью, не в культуре запретов и молчания, не в колоссальном развитии урбанизма и даже не в индустриальной цивилиза-

ции, а только в атомной войне. Тоталитаризм – это смерть не только для людей, но и для мира. Ядерная война должна была стать апофеозом, вершиной тоталитаризма, его последней, наивысшей ступенью. Атомная война означала конец мира и воцарение небытия как последней стадии тоталитаризма. В результате ядерного конфликта тоталитаризм должен был уничтожить мир и воцариться навечно. В ходе своего существования тоталитаризм постепенно двигался по восходящей линии: от первобытного тёмного тоталитаризма тридцатых-сороковых годов к высокому тоталитаризму пятидесятых годов с его монументальной тяжеловесной эстетикой. Следующей стадией, по нашему мнению, должна была стать атомная война. В ходе неё тоталитаризм должен был уничтожить мир и его обитателей. В результате этого мир замкнулся бы сам на себя, стал бы мёртвым миром, отжившей эпохой, закольцевавшимся пустым пространством без семантического содержания. Это и есть картина абсолютного небытия. Если бы это всё-таки произошло, тоталитаризм получил бы в распоряжение вечное пребывание в небытии мира.

Но почему тоталитаризм не реализовал свой шанс уничтожить мир в атомной войне, почему он двинулся по нисходящей, почему упустил время? Проходили годы и десятилетия, но тоталитаризм так и не смог уничтожить мир; вместо этого тоталитаризм, постоянно подтачиваемый множеством частных интересов, постепенно вырождался, слабел и терял возможность уничтожить мир. Во второй половине XX века тоталитаризм так и не предпринял свой финальный шаг против мира, и в эпоху застоя мы уже можем наблюдать полностью выродившийся, иссохший тоталитаризм, который потерял свою силу и мог оперировать лишь ложью и общими пустыми декларациями. Величайшее явление, апогей общего, колоссальная сила, смерть десятков миллионов людей – тоталитаризм – завершил в итоге своё существование ничтожным для себя финалом. Выбеленный, ослабевший тоталитаризм, так и не смогший уничтожить мир, в середине восьмидесятых, на переломе эпох, закончил свою историю чернобыльской катастрофой. Вместо вселенского торжества небытия мир увидел локальную для мира, но крупнейшую для страны аварию, ознаменовавшую собой не только распад советской системы, но и конец эры тоталитаризма.

### Список литературы

1. Ухтомский А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. – СПб.: Петербургский писатель, 1996. – 528 с.
2. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с.
3. Золотухина-Аболина Е.В. В. Налимов. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2005. – 128 с.
4. Платонов А. Чевенгур. – М., 2006. – 413 с.

5. Неверов А. Ташкент – город хлебный. – Свердловск, 1982. – 128 с.
6. Эренбург И. День второй // Эренбург И. Собр. соч. Т. 3. – М., 1991. – 502 с.
7. Зиновьев А. Исповедь отщепенца. – М., 2005. – 554 с.
8. Гранин Д. Ленинградский каталог. – Л., 1986. – 111 с.
9. Гайдар А. Дым в лесу // Собр. соч. в 4 т. Т. 2. – М., 1956. – С. 5–31.
10. Антонов С. Первая должность // Антонов С. Небольшие повести. – М., 1976. – 254 с.
11. Ракша И. А какой сегодня день? // Юность. – 1976. – № 8. – С. 3–7.
12. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома. – М., 1998. – 336 с.
13. Рыбаков А. Неизвестный солдат // Рыбаков А. Приключения Кроша. – М., 1989. – 448 с.
14. Носов Н. Про Гену // Носов Н. Витя Малеев в школе и дома. – М., 1998. – С. 20–32.
15. Б. Стругацкий. Комментарии к пройденному // Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. соч. в 11 т. Т. 4: 1964–1966 гг. – Донецк, 2001. – 656 с.
16. Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на склоне // Стругацкий А., Стругацкий Б. Пикник на обочине; Отель «У погибшего альпиниста»; Улитка на склоне. – М., 1999. – 624 с.
17. Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. – М., 1948. – 244 с.

Получено 20.01.2015

**A.V. Politov**

## **SOVIET TOTALITARIANISM: THE CHRONOTOPICAL WHOLENESS OF CULTURE-HISTORICAL ERA**

In the article on the material of Russian literature of XX century the culture-historical epoch of totalitarianism in the Soviet Russia is revealed as the integrity of a special kind – the chronotope, which is understood as the unity of all meanings of this time. Consistently considering the Soviet totalitarianism in the definitions of historical era, industrial culture, bureaucratic system, the dictatorship of the absurdity and nothingness, the author outlines the contours of Soviet totalitarianism as an independent phenomenon, as a separate semantic world. The integrity (which was recreated using the descriptions) is the chronotope of Soviet totalitarianism in its essential meaning.

*Keywords:* chronotope semantic world totalitarianism industrialism cultural-historical era everyday culture Russian literature of the XX century.